смену учились. Единственная знакомая лошадь, за

1945. Июнь Щукинская, 26, корпус 1, кв. 287

Бегу, точнее, несусь. Вообще-то я всегда не хожу, а бегаю, потому что у меня короткий шаг. Мама говорит, что такой коротенький шажок называется «куричий». Но сейчас я несусь. С уймой приятных новостей. Во-первых, кончилась школа, и у меня не две, а всего одна четверка, и та по чистописанию. Во-вторых, сегодня в буфете всем-всем выдали не простую булочку и раздетую конфеткуподушечку, а густо посыпанную сахарным песком большую, как довоенную, московскую плюшку и две настоящие конфеты в разных фантиках. Одна побольше в простом бумажном, другая нарядная. И все это не всухую, в классе, а в буфете, да еще и вместе с чаем горячим и сладким. В нашей школе (отец называл ее недомерком) особого буфетного помещения нет — не запланировано. Но так как теперь недобор, то в одном из лишних классов на первом этаже устроили столовую. Сюда в большую перемену за булочками и подушечками прибегают дежурные, здесь же едят свой витаминно-ненаваристый суп сироты войны. Суп привозят на лошади в огромном фронтовом термосе. Варят его какие-то шефы, а рано утром привозят солдатики, комиссованные по ранению, к строевой службе не годные. Сама я ни шефской

лошади, ни фляги не видела, мы же во вторую

которой увязывается мелкое пацанье, развозит уже наколотые дрова в маленькие корпуса. В них, в отличие от корпусов больших, в том числе и нашего, нет водяного отопления. В одном из таких домов жила Надя Жаворонкова, пока не подросла и не вышла замуж за нашего Женьку. В июне 1941-го ей чуть больше трех, в эвакуацию они не уехали, и хорошо помнит, как жил Городок в те годы. Разговорившись ней, кстати, совсем-совсем недавно, с удивлением узнала, что лошадь, привозившая им дрова, а в школу горячий обед для детей, отцы которых погибли на фронте, — одна и та же кобылка. А солдатики никакие не шефы, а члены комендантской команды, обслуживающей наш Городок. И вот что эти мальчики (так называла их мама) сделали, как только за Надиным, крайним в ряду малоэтажек корпусом огородили заборчиком хоздвор — с сараюшкой для лошади, дровяным сараем и финским домиком для однорукого коменданта и его подчиненных. Вскопали и засеяли овсом все три пустые площадки между маленькими корпусами. Чтобы лошадь порадовалась. Сначала клочками взошло. То густо, то лысо. А потом Надежда даже три василька там нашла.

Итак, я бегу. В сшитом мамой из вещмешка портфельчике выпускной похвальный лист и нарядная конфета для Женьки. Обычно в это время,



Первая послевоенная фотография отца в новой, с золотыми погонами парадной форме. В парадной тужурке. При черном галстуке и орденах. Сделана по служебной необходимости. Мне все это ух как не нравится. Но ничего не поделаешь. В школе тоже вводят форму. Коричневую. Вроде как прежде — в гимназиях. Впрочем, носят ее не все. Я в том числе. Замечания иногда делают, но не строго. Отговориться всегда можно. Дескать, моего размера не было

ежели в сад еще не выписали, он возле дома играет перед подъездом. Мама с соседкой со второго этажа Натальей Афанасьевной Поморцевой сидят на скамейке, а Женька с ее сыном Виктором при песочнице. Поморцевы его пока в сад не отдали, после кори писаться стал... Ну да... Все как всегда, только мамы на лавочке нет, Наталья Афанасьевна одна при мальчишках. Да ты, Алка, домой лети, отец приехал, а эти пусть пока тут...

Влетаю, дверь (входная) почему-то не заперта. На столе, кроме отцовской фуражки с белым чехлом, — пусто. И скатерть не обеденная. Черная с кленовыми желтыми листьями. Довоенная. Склонив голову и спрятав лицо в ладони, как был, в зимнем темном кителе, ну да, он же прямо из Мурманска, отец. Мама, обняв его спину и гладя по лысине, что-то шепчет. Что — не слышно, потому что отец плачет. Нет, нет, я совсем не боюсь, когда плачут. Наоборот, если плачут, значит, кому кого-то жалко до слез. Но отец... Мама, выпрямившись, тихо, но четко:

— От Мани Стугаревой из Горок письмо пришло. Ян через своих знакомых, с партизанами связанных, узнавал. Бабушка Татьяна умерла. Макриду с мальчишками в Германию угнали, а про Марфу и остальных увечных да немощных ничего

неизвестно. И никому в школе про это не говори. И вообще язык за зубами держи. А сейчас к Жене ступай, пусть пока поиграет. Да подольше, а как стемнеет, домой. Теплую воду дали, отец ему из Мурманска заводной катер привез. Завтра в сад поведешь.

Когда в Севастополь из Новоселок письмо при-

шло, что деда Сафрона похоронили, они с мамой быстро-быстро на центральную почту кинулись, чтобы деньги телеграфом выслать. А когда Комаровы, давние наши друзья по Ленинграду, из Ялты приехали, где курортничали, и Асатурян тоже пришел, деда Сафрона почти что всю ночь вспоминали. Жека (комаровский) сразу уснул. Они же из Ялты на катере плыли, долго, а я все не спала да не спала — деда жалела. Нет, не плакала. Но очень-очень жалела. Вообще-то вспоминать наш с мамой приезд в Новоселки я не люблю. Потому что не нравится, как это все запомнилось. Все, кроме деда. Да я и его не на лавке в избе вспоминаю, а в шалашике, в рощице, где он из дерева в любом доме нужное мастерит. Режет. Для меня ложку обеденную большую вырезал из чистого,



Фотографий родственников с отцовской стороны у меня нет. Брат прикарманил. Где они теперь, после его смерти, невестка не помнит. И искать не желает. А я и не настаиваю — они послевоенные. Я же их прежних, довоенных, никого, кроме деда Сафрона, хорошо не помню. Его по моим рисункам-рассказам дочка потом лепила из глины, и выглядел он при этом сильно похожим на фотографию белорусского крестьянина периода сплошной коллективизации. Вот только бычка в колхозную скотню наверняка не сам тащил. Сыновья отвели. Либо Кузьма, либо Федор. Он же, по свидетельству тетки Макриды, в колхоз так и не вступил, и по возрасту, и как кустарь-одиночка



Я в белом сарафанчике. Гляжу на сию нарядную и загорелую девчонку и удивляюсь: как могло получиться, что умная и чуткая моя мама могла в таком накрахмаленном виде привезти меня вроде как на смотрины в бедные отцовские Новоселки? Она что, полагала, что здесь такой же быт, как и в прилегающих к ее родным Горках селениях, где стиль жизни уже три четверти века определяла знаменитая Сельскохозяйственная академия, заведенная еще адмиралом Николаем Мордвиновым при Николае Первом? На земле и при саде проворовавшихся в войну 12-го года графов Соллогубов?

почти белого чурбачка. А мама ее в Новоселках забыла. И сам светло-серо-белый, и борода, и волосы, и одежка. И стружки-щепочки тоже светлые. А вот про что со мной говорить, не знает. И я не знаю. Птичка какая-то, крохотулька, с ветки спрыгнула, клювиком в стружках порылась, вспорхнула... Но один раз все-таки засмеялся. Все ругались. И мама, и бабка Татьяна, а дед смеялся. И не так, как Макридины хлопцы, не обидно. Это когда я на свинью села, а это свиноматка была. Хрюкнула, телом задвигалась и в навозную кучу сбросила. А на мне новенький сарафан, и сандалики, и носочки.

А вот про остальное даже думать не люблю, нехорошо-стыдно — знаю, но не люблю. Про Марфу, младшую отцову сестрицу, — потому что у нее маленькая вторая голова на голове выросла, ее в темечко, еще не заросшее, то ли телка, то ли корова копытом ударила. Дурочка, а красивая. Бабка ее больше всех детей своих любит. Даже Макриду, старшую, впрочем, про нее мне пока и запомнить нечего. Ни про нее, ни про ее мальчишек. Имена всех четверых с маминых

слов выучила. Иван, Михаил, Володька да Гришка. Да на что мне их имена, если они мимо меня бегают. Да еще и дразнятся и крапивой бросаются. Издалека, правда, не целясь. Вот и «мамка ихняя», а моя, оказывается, родная тетка Макрида, если и заглянет к родителям, то на минуту. Про младшего дядюшку Федора, может, и повспоминала бы, очень уж голосисто пел, когда на колхозной телеге нас с мамой из Новоселок до ближайшей МТС вез. Оттуда в Горки, к Митраховичам, мы уже на полуторке ехали. Вот только и про Федора язык за зубами держать велено. Не верю я, ежели начистоту, тем, кто уверяет, будто по малости лет до Двадцатого съезда ничегошеньки даже не подозревал. Неправдычка это. Вот, к примеру, фотография, сделанная весной 1937 года. На ней — я и Жека Комаров. В Севастополе, на Историческом бульваре. День теплый. Жека в свитере, а я почему-то в шапочке, да еще и в коверкотовом стильном пальтеце, воротник, как и шапкины уши, «модельно» отделан кротовым мехом.

Все это Комаровы, прежние наши друзья и соседи по жизни в Лесном, когда отец еще в Политехе учился, привезли из Ленинграда. Раза два или три после того гостевания от Комарова-старшего приходят коротенькие смешливые письма, а потом вдруг перестают. И хочешь верь, хочешь не верь, но я, малявка, и то (не сразу, конечно, но скоро-скоро) догадываюсь: спрашивать «почему?» — бесполезно. Мама либо переведет разговор, либо сделает такое лицо, как будто ей в ухо вода попала. То же самое с его братом Федором. Разговоры (меж матерью и отцом) о том, что его, может, и впрямь в самодеятельный ансамбль возьмут, тоже обрываются вдруг. Вдруг и бесповоротно.

Или вот такая загадочная картинка. Севастополь. Скорее всего, 1937-й. Лето. Жара. Мама моет полы. Я, чтобы не путалась под ногами, выставлена на балкон. Наши корпуса на взгорке. А тот, в котором мы живем, первый от моря, и с высоты балкона четко просматривается подъем с большой улицы, думаю, хотя, может, и ошибаюсь, с Большой Морской. Обычно в обед, в самое пекло, ни мальчишек там, ни прохожих. Но что такое? По склону вверх быстро-быстро бегут моряки в белых командирских фуражках и кителях. Распахиваю балконную дверь и громко: мама! Бросив недовыжатую тряпку, она неожиданно быстро выглядывает и, ойкнув непонятное: «Господи! Да сегодня ж двадцатое!», стягивает через голову фартук и убегает. Лет через пятнадцать, еще до доклада Хрущева на Двадцатом съезде,





Вход в учебные корпуса Академии и вид на ремесленное училище, в котором учился мой отец. Причем бесплатно, как внук защитника Севастополя и Георгиевского кавалера и старший сын недостаточного крестьянина

я у родителей о недопонятом в детстве все-таки пробую порасспрашивать. Нечасто, но пробую. Ну и про тот БЕГ — конечно. Отец сначала съеживается. Зато мама, хотя и посердилась, сразу же отвечает. Отчетливо, как по писаному: «Да это они боялись, что не успеют за обеденный перерыв получку домой скорей принести и на службу опоздают... Вот я и побежала навстречу...» Сообразив, что я ничего не поняла, отец неожиданно добавляет подробности:

— Получку нам, Алка, выдавали перед обедом и, как и повелось во флоте с царских времен, 20-го числа. А эти, когда являлись, то чаще всего именно 20-го, в самом конце обеда, и деньги, изъятые у арестованных, исчезали в их карманах...

Вопрос (от дотошного читателя) так и напрашивается: а есть ли веские основания утверждать, что коллективный забег произошел в лето 1937-го, а не в иное? Разумеется, нету. Да я и не утверждаю. Всего лишь перебираю, рассматриваю выцветшие картинки. У каждого из трех моих севастопольских приморских лет разные запахи. У 1936-го все перебивающий запах новогодней елки. У 37-го запаха почти нет. Мама занята новым нашим ребеночком, сам-то он пахнет вкусно, особенно после купания, но у всего года другой запах. Никакой, а невкусный. Хочу, пристаю я к отцу, хочу елку! Отец, растапливая голландку, отмахивается. Хочется-расхочется, вот и перехочется. Но я не обижаюсь, мне не терпится рассказать, что соседские близнецы испортили школьный учебник. Нарочно испортили. Толстым пером портреты замазывали. Сначала название замажут. Потом и все исчиркают.

Так, может, 1938-й? Нет и еще раз нет. У 38-го запах дезинфекции и скарлатины. Даже от елки, не нашей, домашней, в детском саду, пахнет карболкой. Его, правда, чуточку перебивает запах

запеченной рыбы и татарского сыра, запах прощального праздника, который Асатурян, по возвращении из Испании, устраивает где-то в горах возле, видимо, Георгиевского монастыря. Рыбу он покупает по дороге, остановив извозчика у подворья рыбаков-греков, а за сыром и виноградом Арам с отцом отправляются к знакомым татарам. Отсутствуют они довольно долго, а так как мате-



Севастополь. Исторический бульвар. Я и Жека Комаров, сын наших питерских друзей. Середина марта 1937 года



Теплынь. Жека в одной рубашке. Я же, несмотря на весну, все-таки напяливаю привезенную Комаровыми обновку — красивое ленинградское пальтишко и даже шапочку. Правда, это фото сделано не в тот солнечный день и в другом месте. Не на Историческом, на Приморском бульваре. На Прибуле всегда холоднее, чем в городе, — ветер-то с моря, а море в марте холодное

рей что моей, что Вовкиной с нами нет, остались с младенцами в городе, мы с ним успеваем всласть передраться...

На обратном пути опять заезжаем к грекам. За рыбой. Все во двор, а я к обрыву. Внизу, у самого моря, рыбаки-греки что-то рыбацкое делают. Молодые. Полуголые. Загорелые. Ловкие. Лет этак через тридцать из этой картинки вот что получится:

Бронзоволосый, как Язон, Проходит мальчик с древней рыбой, Так театрально освещен, Как будто высвечен из глыбы.

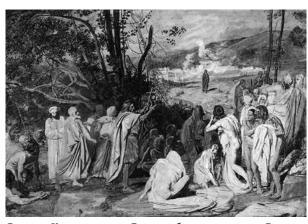
И обруч сняв с тугих кудрей, Закинув лук тугой за спину, Он исчезает средь камней, Вновь становясь полудельфином. А рыба дышит слабо-слабо, Как ноздри раздувая жабры. И запах смерти чуя, крабы Заносят сдвоенные сабли.

И опадают плавники, И чешуя, как галька, меркнет, И раны огненная метка Сухие пачкает пески.

Два разновременных эпизода то сдвигаются, то накладываются друг на друга, а при попытке их раздвинуть или расклеить включается подсветка. Так как же отделить то, что диктует жизнь, играющая, по Вяземскому, роль писца, от подсказанного, а то и навязанного читательским и писательским опытом? И воображением. А никак. И греческие рыбаки были, и коктебельский мальчик тоже. И кудрявый, и бронзоволосый, и при полном снаряжении для подводной охоты. И рыба не литературная, а реальная. И сухие коктебельские пески тоже. Вот только если бы не тот давний пикник...

Но это когда будет? И будет ли? Ведь на откидном календаре июнь 1945-го. И еще ночь, и не темная, как в песне, летняя, почти белая, а родители все говорят, говорят. Тихо-тихо, но разговаривают. Заводной катер, мокрый и уже наверняка не работающий, валяется на полу. Женька, изучая, как у него там внутри, его сломал. К железным игрушкам старший из моих братьев равнодушен, вечно какую-то живность противную с улицы в дом приносит. То гусеницу, то жука. Один, черный, в спичечном коробке шебуршит... царапается... Сильный. Жук шуршит, Женька спит. Он спит, а я простыню на голову натянула, а сама ее, голову, щупаю: а вдруг у меня, как у пропавшей Марфы, тоже вторая голова начинает расти? А мама, может, потому и волнуется, что у меня слова, что ни скажу, несуразные, и память тоже. В десятый раз переворачиваю подушку и начинаю сама себя усыплять усыпилкой собственного сочинения. Сони спят. Несони не спят. Ежели много-много раз повторить, убаюкивает. Но сегодня не помогает. Бессонная моя соображалка все крутится и крутится, словно бумажный пропеллер на длинной деревянной палочке. Неужели и про то, что тетку Макриду с мальчишками на работу фашисты в Германию, как скотину, угнали, тоже молчать надобно? И зачем так сильно-сильно плакать оттого, что бабушка умерла? Деда Сафрона отец больше любил, а не плакал. Жалко? Да и мне жалко, хотя я уж точно ее невзлюбила, как и она меня. На деда фырчит — не работник, маму шпыняет — не тот ухват схватила, кошку ногой пнула, Федор не туда

ведра с водой поставил, Максим — зачем бабу отправил, мог бы и сам денежки привезти, не велик пан. Это я не свои мысли пересказываю, это всего лишь дребезги, какие с маминых слов запомнила, когда она тете Лизе, в Орше, из Новоселок вернувшись, рассказывала. На моей картинке ничего этого нет — ни ведер, ни ухвата, ни кошки. На моей картинке вот что. Если смотреть издали, со стороны рощицы, где дедушка Сафрон бондарит, странное сие домовладение, то есть обыкновенная, дореволюционной постройки бедняцкая изба, если на что и похоже, то вовсе не на те сельские жилища, по которым протащила нашу семью эвакуация. На что? Да больше всего на избы крепостных госпожи Арсеньевой, по себе Столыпиной, в лермонтовских Тарханах, фотографом середины второй половины XIX века запечатленные. В стихах ее внука они выглядят куда пригляднее: «изба, покрытая соломой, с резными ставнями окно», «полное гумно» и т. д. Может, резные ставни и имелись, но при тогдашней технике съемки фотоаппарат их попросту «не усек»? И ни садочка тебе, ни палисадника. Что в Тарханах, что в Новоселках. Но это ежели издалека. А внутри... Пол земляной. Оконце крохотное. Помещение тесное, наполовину печью уменьшенное. Зато все стены прямотаки изукрашены божественными олеографиями. Их, как мама потом объяснила, дед с ярмарки привозил. Картинки и то, что их так много и все яркие, мне нравятся. И картинки, и травки сухие целебные, всюду развешанные. Травкам бабку в монастыре научили, она же подкидыш. Ее оттуда, из монастыря, как в рабочий возраст вошла, в черные прислуги и взяли, к еврею-молочнику. Там-то ее какая-то неместная вдовушка, она у молочника хозяйкой служила, за Сафрона поскорее замуж и выдала. И иконкой благословила. Сафрон у мо-



Явление Христа народу. В черно-белом варианте «Явление Христа народу» смотрится плохо. Но мне удалось найти в Интернете рабочий эскиз к знаменитой картине Александра Иванова

лочника бондарил. Кадочки, маслобойки, мутовки... А вот теперь самое главное. Стол, а посередине чугунок. За столом мама, Макрида, Марфа и дед. Бабка огромной, как ковш, поварешкой варево накладывает. Сама не садится. Меня общей обеденной едой не кормят. За столом мы с дедом только картошку в мундире по вечерам с солью и луком едим. Но это вечером. А утром мама для меня из молока, отдельно, то кашу, то супчик молочный стряпает. Ну и яйцо, если кура снесет. Это Федор придумал. Ямку неподалеку выкопал и решетку из железных прутиков сделал. В ямке костер маленький. Мама огоньку то соломки, то щепку подбрасывает. В дырочку через решетку. На решетке кружка с молоком или с водой, если с яичком. А пока взрослые большую еду едят, я или сижу возле стола на скамеечке, или картинки на стенке рассматриваю. Но что там происходит,



Карандашные, выполненные художникамисамоучками «из крестьян» рисованные иконы и продавались, и покупались на сельских ярмарках еще до войны

мне не видать, и высоко, и сухими травками заслонено. Только одна почти близко висит. Новенькая и мухами не засиженная. У самой двери прикноплена. Если на скамеечку с ногами забраться, рассмотреть все-таки можно. Что за картинка? Знать не знаю, конечно, но, судя по ситуации, может, и невесть как сюда попавшее «Явление Христа народу»? Народ же там в основном одетый. Креститель аж в шкуре, Христос туманный, и далеко-далеко, а на самом видном месте, справа, в углу, прямо перед моими глазами мужик да мальчик. У мальчишки какая-никакая, все-таки фигулька на письке, а натурщик в углу всамделишно голый. Срамное каким-то тканьем заслонил, но если вглядеться... Вот я, видимо, и вгляделась. И от удивления как заору: «А дядька-то голый!» А бабка, Татьяна, как подскочит да по темечку поварешкой! Бабах! И раз, и два, и еще раз — по лбу! Что там, на макушке, выскочило, не знаю, всетаки и волосы, и бант, а вот шишка на лбу долго была. Мама, по ее словам, на всю жизнь эту сцену запомнила. Однажды даже дяде Сереже рассказала. Когда они у нас, уже на Щучке, еще до войны про старые годы вспоминали и о том, как школьный поп ему руку тяжеленной стальной линейкой изуродовал. А он что? Всего лишь спросил: и как это, батюшка, в Ковчеге столько скота уместилось? Сергей Филиппыч мне тогда и шрам оставшийся показал — на тыльной стороне левой руки. Большой, некрасивый, рваный, кость потому что задело. Да она и потом, когда я уже взрослой была, ежели и упоминала, что бабушка Татьяна не просто умерла — от болезни или голода, а что ее немцы убили, в подробности не вдавалась. Знала, что мне и это известно, но сама вроде и не прикасалась. Сначала, каюсь, простое предполагала: по деликатности опасалась, как бы взаимная



Одна из последних ярмарок в восточной Беларуси. Сплошная коллективизация началась здесь в 1931 году. И сразу же после весеннего сева

их неприязнь на выборе и истолковании деталей не отразилась. Правда, однажды в догадке своей усомнилась. Мама же и о том, как другая моя бабушка, Ксения, умерла, не рассказывала. Одной фразой от моей настырности отделалась: лошадь, мол, сама привезла, и дрова, и хозяйку мертвую. И ничего больше, решительно за всю общую нашу жизнь. Она молчала, и я не спрашивала, и только потом, мамы уже в живых не было, тетю Марусю порасспросить осмелилась. В Питере, у Смирновых, в новой их кооперативной квартире, на проспекте Большевиков. Милой моей Марусеньке вот-вот 90 стукнет, всех и все пережила, и сестер-братьев, и мужей, и сына, и блокаду, и все бесслезно. А тут расплакалась. Вечерами мы вместе «архив» ее разбирали. Фотки, письма, бумаги. В том числе и те, что ее сын, а мой братец двоюродный, из Сибири привез, куда настояще-



Угоняют! Российские остарбайтеры. Фото из немецкого журнала



Российские остарбайтеры в Германии. На полевых работах

го его отца Костю Малишевского как пособника врагов на пожизненное поселение «органы» определили. Другие после 56-го возвращались, а Малишевский осел. Он же по образованию ученый-лесовод. Там Виктор отца чудом и разыскал и бумаги домой привез. Чтобы тамошние новые его детки за ненадобностью не сожгли. Впрочем, о Малишевском Сибирском я уже знала, от Виктора. Возвращаясь из Сибири, он с Ленинградского вокзала позвонил, приезжай, дескать. Вот мы часа полтора на вокзале и поразговаривали.

Но я опять отвлеклась. Итак, год примерно 2000-й. Как и предупреждала, из того, чего сама своими глазами не видела, оживающие картинки

не получаются. Ситуация тем не менее прояснивается. Горки. Заречье. Маме лет семь, а может, уже и восемь. Маруся на три или на три с половиной года младше. Отца (то есть деда моего второго — Филиппа) уже год как похоронили. Болел он и медленно, и долго. Сорвался затылком, когда крышу перекрывал. Старшие дети кто где. Племянники тоже. Как правило, сыновья, что Сергей, что Ефим, к мужским делам Ксению Васильевну не подпускали — сердце слабое, чуть что — и прихватывало. А тут — зима. Не лихая, но подмораживает. Вот и решила: пока ни мороза, ни ростепели, в лес за дровами успеть. Те, что раньше, то муж покойный, то Сергей привезли-нарубили, кончаются. Место, где шаповаловская дровяная заначка, известное, и лесник знакомый. Если что, погрузить подсобит. Как уж там получилось... Вроде лесник в оконце глянул, а вдова покойного Филиппа Кириллыча на скамейке недвижно и голова назад откинута. Лошадь и дровни тут же. Выскочил, трогает, все, без дыхания. Кругляки и сучье отодвинул, устроил, тело попоной накрыл. Лошадь с поклажей к дороге на Слободку довел, а сам в сторожку, он же в домашнем, налегке выскочил. Вернулся, а на месте ни дровней, ни лошади. Не дождавшись, сами до дому отправились... Пока до Заречья дошел, народ сбежался, голосят, охают, и сироты тут же. Босые...

- Марусенька, вправду босые?
- Уж это точно, Алуся, босые...

Алуся?.. Так меня мама маленькую иногда называла. Давно. Редко.

2000-й. Скорый Ленинград — Москва. Вагон плацкартный. Полка нижняя. По ходу поезда. Правая. Ночь. Бессонница. Как только появились дневные, из Москвы в Ленинград езжу дневным, сидячим, потому что в поезде уснуть не могу. Даже со снотворным. А вот обратно — из Ленинграда в Москву — на любом ночном. Главное — чтобы приехать незадолго до открытия метро. Парни (соседи по купе), судя по акценту, гастарбайтеры, на верхние полки одежку закинули, а часа через полтора забрали и на первой же большой оста-



Домой! Сбор для отправки на родину

новке выпрыгнули. Соседка время от времени открывает глаза, проверяет, на месте ли новенькая дубленка, которую поверх одеяла, как и я, набросила. Поправит и отключается. А я все верчусь да две памятные картинки друг к дружке прилаживаю. Одна совсем новенькая. Тетя Маруся в кровати. Прежней, еще по коммуналке на Охте знакомой. В одной руке у меня пузырек с валерьянкой, других лекарств Марусенька не признает, в другой — старое-престарое фото. Я эту фотку специально из «архивной» кучи вынула, чтобы бабушку Ксеню отдельно везти. И вот ведь и привезла, и спрятала, да так сохранно, что нашла только недавно... Вторая картинка выскочила из подвала памяти незвано и только что, в поезде. Я на диване. Еще на Щукинской. До пожара. В большой комнате. Мама тут же — у нее глажка. Весь Некрасов в одном томе — тяжеленный, библиотечный, прислонен, как к подставке, к согнутым в коленках ногам. Значит, на дворе раннее лето 1951-го. Почему так датирую? А вот почему. Когда Анна Львовна Альперт, она у нас преподает словесность, узнала, что я на филфак собираюсь, хмыкнула и вроде как между прочим сказала: в этом году в МГУ может и по Некрасову тема быть, давно что-то не было, а у тебя, голубушка, одни верхи. Впрочем, как и у всех — по верхам. Как это по верхам? Я же все, что мне мама еще в Ленинграде, в Лесном наизусть напевала, помню! Про несжатую полоску особенно. Да и то, что в хрестоматии, напрочь прилипло. И «Трогай, Саврасушка, трогай», и «Есть женщины в русских селеньях», и «Мороз Воевода дозором»! Сдвигаю чуть ли не полупудового Некрасова на пузо и, заложив руки за голову, это и декламирую, да еще, и как помнится, «с выражением»: « Есть женщины в русских селеньях...» Мама, поставив новенький

- электрический утюг на попа, спрашивает:

 А вам в школе разве не объясняли, что это не отдельное стихотворение, а отрывок из поэмы?
- Какой поэмы? Она что, и здесь, в этом «кирпиче» есть? Говори скорее, как называется!

Мама, послюнявив палец, пробует, не перегрелся ли утюг, и каким-то недомашним, учительским голосом отвечает:

— Да ты заподряд, как Анна Львовна велела, читай, сама и узнаешь.

Прочла, конечно, и «Княгиню», и «Мороз Красный Нос» и на вступительном экзамене в МГУ за «Образ Гриши Добросклонова в поэме Н. А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"» отл. получила. А вот до последнего разговора с тетей Марусей сходство истории некрасовской Дарьи, которая, напоминаю, похоронив мужа, в

лес за дровами поехала и, сном заколдованная, замерзла, со смертью собственной бабушки мне, тогдашней, и в голову не пришло! И впрямь, как Анна Львовна сказала — по верхам! В поэме же Дарья — молодушка, вот ее Мороз Воевода и охмурял, а у Ксении Устиновны даже дочери старшие замужем, и дровишки прямо в лесу она не колола. Да и особого мороза не было. Грудень стоял, февраль то есть, а он, ежели на март заглядится, для сердечников самый опасный.



Скифская баба. Картон. Масло. Работа В. П. Муравьева

Ход мыслей, конечно, дурацкий, но объяснимый. Я же летом 1951-го ничего, кроме голого, без подробностей, факта, не знала. То же самое и с другой бабушкой, Татьяной. А без живых подробностей что? Информация, и только. Подробности, разумеется, выяснились, да и то случайно, и тоже через много лет. Когда тетка Макрида в последней раз в Городок приезжала. Хотела руку правую врачам показать, а Муравьев, засмотревшись, ее скифской бабой назвал. В ту предзимнюю пору (поздней осенью 1964-го) он на Преображенке еще полы циклевал, да и спал на полу, а мы с дочкой на Щукинской... Еще бы не засмотреться — какая модель! Они же с его матерью ровесницы, но свекровь носится, легкая, разве что костромское упрямство ее при земле удерживает, а эта словно ногами в землю вросла. Вот в виде глыбы безногой Муравьев Макриду и изобразил. Чуть ли не на первой же картинке, когда маслом начал работать. Я-то в разгневанной бабище сначала хозяйку гарема увидела, но, всмо-



тор, сын маминой сестры Маруси. Усыновленный ее вторым мужем Федором Ивановичем Смирновым. 1960-е годы

тревшись, захохотала: да это же тетка! А Муравь-

ев, довольный, и другие картонки (все в одном и том же формате — 40/50) лицевой стороной расставляет. На Преображенке, конечно. А на Щучке... А на Щучке в тот вечер отец с дядей Сережей хрущевский вопрос обсуждают. Мама, как всегда в таких случаях, на кухне не задерживается. Но помалкивает. Да и я не встреваю. Как и Макрида. Она даже вроде как дремлет. И вдруг взрывается. Хрущ, мол, не овощ полезный, а жук вредный. Вредитель! Овечек порезали, в огороде дура-кукуруза, а бульба на выселках. Отец с дядькой уходят, и до метро Сергея Филиппыча проводит, и в «генеральский» на Соколе мясной магазин заодно заглянет, 7 ноября на носу. Дочка меня игнорирует. За бабушкой — хвостиком. Вот я наконец-то и задаю тетке вопросик, каверзный, какой при родителях задавать не следует. Но прежде чем его озвучить, небольшое разъяснение требуется. Сейчас, конечно, быльем поросло, а вот в те годы даже при подаче документов в гуманитарный, а не оборонного значения вуз заполнялась анкета, где спрашивалось, оставались ли ваши родственники на оккупированных территориях. Что отвечал отец, не знаю, а я простодушно-послушно варьировала под его же диктовку записанный примерно такой текст. Одни родственники смогли эвакуироваться, другие не успели, как и многие жители сельских районов Белоруссии. А некоторые (сестра отца с четырьмя

сыновьями подросткового возраста) были угнаны на работу в Германию. Теперь они выросли и либо призваны в действующую армию, либо работают в том же колхозе. И что, сходило? Как ни странно, сходило, причем не только в университетском отделе кадров, но и в политуправлении («Советский воин», в котором сразу после университета я проработала почти два года, административно был приписан к именно этому «подразделению» военного ведомства.) Предвижу вопрос: что, и на Украине тоже сходило? И в Прибалтике? А в Крыму? Снять эти вопросительные знаки не в моей компетенции, что же касается Белоруссии... По сведениям, имевшимся у отца, для Белоруссии, как наиболее пострадавшей, по настоянию чуть ли не Петра Машерова¹ было сделано исключение. Эшелоны с белорусскими остарбайтерами в Сибирь отправлены не были. Хотя Макрида грамоту так и не осилила, речь у

нее складная, пусть и в стиле «верблюд шел-шел, колючку нашел, схрумкал и дальше пошел...» Но ежели, мысленно, вычеркнув мелочи и повторы, расставить абзацы, главное я выуживаю. Во-первых, тетка убеждена, что она, как и Максим (мой батюшка то есть) — везучие. И сами уцелели, и детей вырастили. А вот остальные... Марфа, младшенькая, без вести пропала. На Кузьму, среднего, похоронка еще до Финской пришла — при исполнении армейских обязанностей. Федор... Ну, про Федора мне и без ее рассказов известно. С председателем колхоза не в ладах, и с сыном его на гулянке подрался. На Север сослали. На лесоповал. Так ведь еще до Двадцатого съезда вернулся. По сердечной болезни выпустили. К нам после лагеря и приехал. Больной, слабый, губы синие. Его бы в клинику, к кардиологам, но у отца такой возможности нет. Хорошо, что у школьной моей подруги Тамары Дивлевой матушка — главный терапевт нашей Городковской поликлиники. Вроде как к Галине Филипповне Марченко вызов оформляем, а на деле и к Федору Марченко. Маму Елена Ивановна уклончиво утешает, но нам с Томкой прямым текстом сказала: нету на такую болезнь лечения. До тепла пусть здесь поживет, пилюли-таблетки попьет. Отоспится, подкормится. А потом лучше в деревню отправить, лета в городе не переживет. Иван, старший из Макридиных сыновей, его в Новоселки по весне и увез — вместе с женой, учительницей, приезжал. Словом, история страшная, но обыкновенная, даже в сравнении с историей

 $^{^1}$ Подробностей из экономии места не касаюсь, но тот, кто личностью П. Т. Машерова заинтересуется, хотя бы на уровне «Википедии», согласится, что такое предположение отнюдь не беспочвенно.

Тамариного семейства. Фамилия у них русская, по отцу-мужу, а мать грузинка, дочь грузинского меньшевика, да еще и женатого на выпускнице Смольного института благородных девиц, Томкиной бабушке то есть. И если бы не Серго Орджоникидзе, а он с ее дедом в одной школе в Тифлисе учился, без следа бы сгинули. Убедительно? То-то. Одно но: даже в теткином изложении заурядная по тем временам история выглядит не совсем обыкновенно. С председателем, выясняется, вся деревня собачилась, да и сильной, до увечья, драки на гулянке не было. Перед девками выхвалялись, на Купалу завсегда так, игрались, вот Федор и заигрался. На борова колхозного председателев картуз, всем в Новоселках известный, пристегнулнапялил. Да и дверь из свинской сарайки настежь бабахнул. Поверить в эту байку я, разумеется, не могу, уж очень на гоголевскую Диканьку отцовские Новоселки не похожи. Вот и перевожу разговор на то, о чем Макрида и раньше, не мне, родителям, доложить пыталась. По собственному, так сказать, почину, а они, хотя и слушают, а не слышат. Про что доложить? Да про то, как хорошо в Неметчине почти что три года прожили, у вдовца-фермера в работниках.

- У немца? В неволе?
- А почему плохо? Мы-то всегда подневольные. То у барина, то у старосты, а то у сельсовета. А он же одинокий и тоже несчастный. Сына, единственного, на войне убило. Жена, как похоронка пришла, умом тронулась, слегла и не встала. Одна радость земля да скотинка, безгласное, да живое. Вот только земле руки работящие нужны, а у него рук-то всего две, да и те старые. Потому нас и меня, и хлопчиков к себе в хозяйство попросил, и его как ветерана уважили.
 - Ветерана?
- Так он же еще ту войну воевал. И у русских в плену побывал.
 - Что, все, впятером, при земле?
- Зачем все? Старшие, Иван да Мишка. Земле понятие требуется. Криво посадишь и взойдет кособоко. Да и остальные при деле. На стряпне, конечно, своя, немка-старуха, а я подсобница, прислугой за все. Володя с утра до темна при скотине, Гришка у сеялок-веялок крутится. То подай, то принеси. У хозяина поясница не гнется, а эти рады-радехоньки. По первому слову несутся...
 - Да на каком языке слово?
 - Макрида задумывается.
- Если по-русскому вспомнит неразборчиво, вроде как некаковское. А германских сколько в хозяйстве надо?



Моя бабушка по матери Ксения Устиновна Шаповалова (справа, сидит). Рядом с ней (слева) Фотий Бондарь. Муж ее младшей сестры с детьми. Фотография из «архива» тети Маруси. Кто ее разрезал на две части и как она к ней попала, Мария Филипповна не помнила

- И не наказывал?
- Да ты что, Алка! Без плетки какое учение? Это у Филипповны (у моей матушки то есть) другая теория повторение матерь учения.

Я смеюсь. Громко, «от пуза»! Мама и впрямь братьям, сначала старшему, а теперь и Генке, дверь открывая, одно и то же твердит: явился с улицы, переобуйся — и руки с мылом. Мне и то надоело, хотя бы разочек голос повысила. А она по-своему. Тихо. И это, оказывается, в переводе на теткин язык, не характер, а теория! Макриду мой хохот не обижает, верблюд все идет да идет. Впрочем, вот, кажется, и искомая колючка! Ушки мои тотчас вскакивают на макушку.

- А как уезжать собрались, разговор был. Не останусь ли, спрашивал. Парней в ученье определить обещается. Власть-то теперь будет и у них другая, не по фюреру подсоветская.
- Макрида! Да ты, что, одурела? Зачем же мальчишек сюда привезла? Там же Германская социалистическая республика теперь!
 - Зачем... Да могилки-то здесь, а не там...

Могилки?

«Проза», как написал недавно Андрей Битов, «есть переход устной энергии в письменную». Мне, к сожалению, такие переходы не под силу. Посему и пересказываю теткин устный рассказ про могилки своими словами. Как школьное изложение.

Поначалу их немцы, похоже, не очень и беспокоили. Деревня нищая, колхоз отсталый, что было запасов, сразу конфисковали. Дочиста, как в Гражданку. Ну и скотину... А людям-то что? Угнали скот, так угнали, все равно сдохнет. Бескормица. Охранная команда для порядка стояла, правление под нее приспособили. Да те по избам не шастали, у старосты столовались. Только тогда и забегали, когда приказ вышел: народонаселение, к работе пригодное, в Неметчину отправлять. Всех в толпу скучили. Всех до единого. Староста проверял. По бумажке. Он же и раздел начал. Годных — в одну сторону, негодных — в другую. Макриду с парнями в рабочие определил, а потом и бабку Татьяну — туда же. Видом-то крепкая, так она же

и Марфу убогую за собой тащит! Староста хотел было их разделить, да связываться не стал. Все равно немцы решать будут. Ну, разделили. Марфе — что? Дурочка, куда показали, туда и поковыляла. А бабка в крик — и толкается-рвется. Взбесилась вроде. Фриц, из охранников, аж опешил. Да тут другой, нездешний, на подмогу подходит, не солдат, в чине, и телом пожиже. И вежливый. Сказать что-то хочет. Наклонился. А она, бабка, как вспрыгнет да как в подбородок ему вцепится. Вот он пушкой своей карманной в морду лица ей и бабахнул. Всю разрядил.

Заметив, что я вроде как с табурета сползаю, тетка, прихватив меня за подол, добавляет:

— Я было дернулась, ахнула, да староста окоротил, не дури, шипит, Манька, он меня с девок Манькою звал. Да и матушку мою бедную сам за ноги в сторону отволок. Как собаку бешеную. Как падаль и засыпали. Не смердила чтобы.

Тетка молчит. Только что живою была — и снова каменная. Да и я истуканом. К счастью, отец с Генкой явились, в трамвае пересеклись.

Окончание следует.